

Л. ДАНИЛКИН***Ленин: пантократор солнечных пылинок****

<Фрагмент>

**Петербург
1893–1897**

Рассказывали, будто в Институте марксизма-ленинизма существовало целое здание, отведенное под производство монументальной Биохроники Ленина: лабиринт коридоров, где на дверях висели таблички вроде «1.07.1917–10.07.1917», «1898, 2-я пол.» и т. п. Если это правда, то синекурой, о которой мечтали все научные сотрудники этого мозгового центра, наверняка была должность заведующего кабинетом «1896»: год, про который мы знаем меньше, чем про какой-либо еще, — и крайне маловероятно, что сможем когда-либо узнать больше. Весь этот год Ленин, арестованный в ночь с 8 на 9 декабря 1895-го, как и его товарищи по «Союзу борьбы за освобождение рабочего класса», просидел в камере-одиночке номер 193 в доме предварительного заключения по адресу: Санкт-Петербург, Шпалерная, 25.

Сам он о своем замке Иф особо не вспоминал, проворчал только через 14 месяцев, не успев дописать книгу: «Жаль рано выпустили, надо бы еще немножко доработать». Надзиратель тоже мемуаров не оставил. Мать — сохранились письма — просила освободить его под поручительство, но безответно. Четыре раза его допрашивали. Два раза в неделю можно было видиться с родными: один раз лично — полчаса, второй на общем свидании, через решетку, — час. Чтобы увидеть «невесту» — Надежду Константиновну, ВИ

* *Лев Александрович Данилкин* (р. 1974) — российский писатель, литературный критик, переводчик. Автор трех изданных отдельными книгами годовых критических обзоров современной русской литературы, а также биографии писателя Александра Проханова «Человек с яйцом» (шорт-лист премии «Большая Книга», шорт-лист премии «Национальный бестселлер»), биографий в серии «Жизнь замечательных людей» Юрия Гагарина (премия «Александр Невский») и Владимира Ленина (премия Большая книга, 1 место, 2017; премия «Книга года» в категории «Проза», 2017; замечал, что она заняла у него пять лет). Составитель и автор предисловия к сборнику избранных работ Ленина: «Ленин: Ослиный мост» (СПб.: Лимбус-пресс, 2017).

** *Данилкин Л.* Ленин: Пантократор солнечных пылинок. М.: Молодая гвардия, 2017.

убедил ее явиться в условленное время на Шпалерную и встать в том месте, где был виден в момент выхода на прогулку именно этот кусочек улицы.

Впервые будущие супруги взглянули друг другу в глаза в конце февраля 1894-го на квартире будущего руководителя Гидроторфа и создателя аппарата «торфосос» инженера Р. Классона — где, под видом празднования Масленицы, состоялся мини-съезд марксистского крем-де-ля-крем Петербурга. Празднование было фальшивым, а вот блины настоящими: жандармы иногда заявлялись на околополитические сборища и после того, как при разгоне одного такого в полицейских списках оказались самоназванные Николай Александрович Романов и Бином Ньютонович Гипербола, потребовали носить с собой на всякое суаре еще и паспорта — «Больше вам Гипербол не будет»; реквизит тоже приходилось предоставлять качественный — отсюда и блины.

Дом Первого свидания (в Биохронике — Большеохтинский пр., 99; потомок инженера, М. И. Классон, называет соседний — Панфилова, 26) не вошел в ленинскую мифологию; курьез в том, что это место находится ровно напротив — через Неву — от Смольного, где супруги Ульяновы поселятся 23 года спустя.

Больше, чем своим грядущим местом жительства, блинами и будущей женой — тогда учительницей Корниловских курсов и мелкой чиновницей Управления железных дорог, 24-летний ВИ интересовался другими гостями — П. Б. Струве и М. И. Туган-Барановским.

Политэкономы и, по мере необходимости, философы П. Струве и М. Туган-Барановский были, по выражению А. Тырковой-Вильямс, «два Аякса марксизма», которые «вместе давали битвы в полузакрытых собраниях Императорского Вольного экономического общества», «вместе составляли программы и манифесты, явные и тайные, вместе затевали и губили журналы, вместе шли приступом на народников».

ВИ увидел этих полубогов — ради знакомства с которыми отчасти и перекочевал из Самары в Петербург — живыми впервые, но не стушевался: если где-то рядом затевалась атака на народников, то он тоже мог предложить свои услуги — и для этого у него в портфеле лежало оружие, которое могло избавить Петербург от этой ереси так же верно, как стрихнин уничтожает крыс, а диалектика — либеральную глупость.

М. И. Туган-Барановский, приметливый экономист, дока по части объяснить, как связан промышленный подъем в России с голодными годами, ростом производства в Англии и падением товарооборота Нижегородской ярмарки в сравнении с Ирбитской

и Полтавской (ничего сложного — просто есть устаревшая форма торговли, и новый транспорт убивает ее, как интернет-торговля — офлайн), чувствовал к В. Ульянову антипатию; особенно ощутимую по контрасту с его старшим братом, с которым они вместе занимались в биологическом кружке при Петербургском университете изучением пивков — и даже установили, что у тех есть нечто вроде органов зрения. Что касается органов зрения самого Тугана, то они подвели его — и он разглядел в ВИ только какого-то крошку Цахеса; в предисловии к «Русской фабрике» приведены выдержки из писем Тугана по поводу ранних экономических статей Ульянова-Ильина: «Так хотелось сказать — “маленький ты мальчик, не горячись, будь спокойнее, то, что тебе кажется верным, вовсе не так верно — жизнь неизмеримо сложнее, глубже, таинственнее, чем ты это себе представляешь”».

Что касается П. Б. Струве, то он оказался более покладистым; возможно, этому поспособствовало то обстоятельство, что в ульяновском портфеле лежала, среди прочего, еще и гигантская — и весьма благосклонная — рецензия на последнюю книгу Струве; так или иначе, с того вечера пройдет совсем немного времени — и ВИ сделается добрым приятелем Петра Бернгардовича, а тот будет приглашать самарского юриста печататься в легальных марксистских сборниках и выступать на разного рода полулегальных марксистских ассамблеях со своим главным хитом.

«Друзья» («Что такое “Друзья народа” и как они воюют против социал-демократов?») были «цыганочкой с выходом» молодого, «дошушенского» Ленина — которую он исполнял в «салонах» и на разного рода молодежных собраниях не раз и не два. Именно благодаря «Друзьям» ВИ заработал себе эпатажную репутацию «рассерженного молодого человека», завтракающего живыми радетелями за крестьян и способного содрать позолоту с нимба на любой иконе. Впрочем, нимбы народников, засиявшие в народовольческие десятилетия, к середине 1890-х несколько поблекли — и идеология их, которую еще только предстояло реформатировать в эсеровскую, представляла легкую добычу для зубастых марксистских хищников, наслаждавшихся ощущением вседозволенности, которое давали им статистика и марксистская диалектика.

Как и большинство ленинских «шлягеров» такого рода, «Друзья» — полемика против идеологических двойников, псевдосоюзников, которые на деле хуже прямого врага — «честной буржуазии». Объект нападков номер один — «главарь» «Русского богатства» либеральный народник «г-н Н. Михайловский», искренне переживавший разорение русского крестьянства и усом-

нившийся в применимости марксовских теорий о капитализме к российской реальности.

Грубая вербальная атака с целью опорочить репутацию оппонента обычно включает в себя серию щелчков по носу, которые если и не квалифицируются формально как оскорбление личности, то звучат паразитительно развязно по тону: «Поскребите “народного друга” — <...> и вы найдете буржуа»; «с мещанской пошлостью размазывает»; «разглагольствует»; «решительно отказываюсь понимать — если это полемист, то кто же после этого называется пустилайкой?!»; «но ведь пишет это не институтка, а профессор» и т. п.

Настоящий конек ВИ — недружественный, в духе энгельсовского «Анти-Дюринга», пересказ с язвительными комментариями: «это замечательное “но”! Это даже не “но”, а то знаменитое “mais”, которое в переводе на русский язык значит: “уши выше лба не растут”»; «С таким же успехом можно бы связать и г. Михайловского с китайским императором! Что отсюда следует, кроме того, что есть люди, которым доставляет удовольствие говорить вздор?!»; «Может быть, впрочем, он самостоятельно додумался до этого перевертывания Маркса?»; «для грудных детей, что ли, рассказываете это Вы, г. Михайловский, что детопроизводство имеет физиологические корни!? Ну, что Вы зубы-то заговариваете?». В качестве мизерикордии ВИ пользуется классическими текстами; здесь — гётевским стихотвореньцем «Что такое филистер? Пустая кишка, полная трусости и надежды, что бог сжалится»; хороший довод в споре о том, изменит ли строительство фабрик в России, как в Англии, общество в лучшую сторону — или означает фактическое вымирание деревни.

Эта черта ВИ — ругаться, забывая о всякой мере, заливаясь, когда он слышит «чушь», злым смехом, — при первой же встрече врезалась в память будущей невесте, но не оттолкнула ее; чего не скажешь о большинстве других знакомых ВИ. Даже когда ему делали замечание, что его манера повторять последнюю фразу собеседника в сопровождении предуведомления «только подлецы и идиоты могут говорить, что...» не является основой для конструктивного общения, он все равно продолжал пользоваться этим приемчиком; Г. Соломону, который знавал ВИ не только по политическим, но и по семейным делам, он казался «полуненормальным».

Незнакомым, впрочем, это, скорее, нравилось. Анна Ильинична вспоминала, что приятельницы просили ее достать им почитать какой-нибудь из выпусков «Друзей» и на вопрос, какой именно, отвечали — а тот, где ее брат употребляет больше

«крепких слов». Потом, правда, выяснилось, что под «выражениями уж очень недопустимыми» имелось в виду, например: «Михайловский сел в калошу»; но идея понятна, и хотя ВИ, возможно, и производил на народников и посторонних наблюдателей впечатление берсерка, на самом деле его язвительность точно дозирована и просчитана.

И хотя ленинский «ситком о народниках» безбожно растянут (а ведь сохранились только две из трех дошедших до нас частей — середина пропала); хотя Н. Михайловский — пусть даже и осмелившийся вступить в спор с Марксом и Энгельсом — едва ли заслуживал той шокирующей манеры, в духе «ах Моська знать она сильна...», которую ВИ избрал для его критики; и хотя уже во втором абзаце у самого автора начинает заплетаться язык («изложивши...», «излагающей...» в одном предложении; кто на ком стоял?), текст и сейчас можно вернуть к жизни — если как следует жажнуть его дефибриллятором.

Считается, меж тем, что именно «Друзья» изменили статус и общественное положение марксистов, на которых раньше «смотрели в лучшем случае как на чудаков, пренебрежительно похлопывали по плечу (“ах вы марксист эдакий”), насмешливо спрашивали о числе открытых кабаков» (намек на увлечения статистикой и фразу Струве про необходимость для России «пойти на выучку к капитализму»), то есть «травили как выродков в семье благородной русской интеллигенции» (Б. Горев). Ульянов, да, доминирует на поле боя, владеет мячом все сто процентов времени — и ставит галочки против всех пунктов в списке намеченных задач: «отповедь всем божкам народнической публицистики» — дал; «несостоятельность» их подхода в социологии, философии, экономике и политике — вскрыл; умение бить противника статическими выкладками — продемонстрировал; монополию марксистов на понимание диалектического метода — отстоял. Разумеется, все запомнили в «Друзьях» «припев» — хамские персональные атаки на лидеров народников и их идеологию; но важнее всего, пожалуй, тот абзац, где Ленин формулирует мысль совсем иного рода: что просто подначивать рабочих бороться за их политическую свободу есть трюк буржуазной интеллигенции, потому что пролетариат, да, вытаскивает для буржуазии каштаны из огня, но политическая свобода будет служить интересам буржуазии и облегчит рабочим не их положение, а условия борьбы с этой же буржуазией. Это может показаться пустословием — однако в этом предупреждении прописан — в 1894 году! — весь сценарий 1917 года. Характерно, что помимо предупреждения, автор формулирует настоящую задачу рабочих: не просто реализация стихийных революционных

инстинктов, но организация социалистической рабочей партии. Ленину, еще раз заметим, 24 года.

Если осенью 1894-го Надежда Константиновна видела ВИ только в марксистских салонах, где тот размахивал своими «желтенькими тетрадками» с «Друзьями» — которые затем будут циркулировать в нелегальных кругах неподписанными, — то зимой 1894/95 года они знакомы «уже довольно близко», неопределенно поводит рукой в воздухе НК.

«Я жила в то время на Старо-Невском, в доме с проходным двором, и Владимир Ильич по воскресеньям, возвращаясь с занятий в кружке, обычно заходил ко мне, и у нас начинались бесконечные разговоры». 25-летняя НК была чувствительной женщиной — у нее даже кружилась голова от запаха табака, которым были пропитаны тетрадки ее учеников в Корниловской школе, где она, вместе с подругами, преподавала молодым рабочим с окрестных заводов географию (и, под ее видом, политэкономия), историю (с упором на классовую борьбу), математику (разрешались только четыре правила арифметики; полиция могла закрыть класс из-за того, что учат десятичным дробям: видимо, дроби пугали полицию потому, что революционеры зашифровывали свои письма как раз ими), литературу (Чернышевский и Писарев). Жизнь учительницы вечерней школы для рабочих была насыщена забавными происшествиями. Один из ее студентов пропал на две недели и объяснил свое отсутствие тем, что не мог оторваться от выданного ему романа «20 000 лье под водой» — пока, проглотив его несколько раз, едва не заучил наизусть. Другой — по фамилии Фунтиков (в пандан к другим ученикам НК — Бабушкину и Кроликову), одурев от чтения Некрасова, решил стать поэтом и, выступая на вечере промышленника, владельца бумажной фабрики Варгунина, продекламировал стихи, где были строки: «Ты эксплуатируй-то эксплуатируй, но помни свои задачи по отношению к рабочим». Варгунин хохотал; то был редкий тип честного отечественного капиталиста, некоторым образом конкурировавшего с социал-демократами. Понимая, что производительность труда обратно пропорциональна уровню пьянства — как среди его собственных рабочих, так и среди «соседских», он сначала учредил нечто вроде интеллигентского кружка, занимавшегося организацией досуга пролетариев, а в 1891-м выкупил у пивоваренного завода «Вена» часть территории и устроил там, с целью обеспечить рабочих «нравственным, трезвым и дешевым развлечением», народный парк — с театром, читальней и каруселями; собственно, он и основал ту самую Корниловскую школу, где НК проповедовала Белинского и Гоголя. «Вена» теперь принадлежит «Балтике»,

но пиво там больше не варят; варгунинский парк «Вена» — с вайфаем, картингом и веревочными «лазалками» — носит имя одного из учеников Крупской; на здании Корниловской школы, под мраморной доской с профилем Надежды Константиновны, намалевано: «Коммунизм — это молодость мира», и произведением вандалов это граффити не выглядит.

Дегустация кулинарных изделий Елизаветы Васильевны Крупской была скорее родом отдыха; чаще ВИ и НК вместе отъезжали по делам, и ВИ учил ее на своих семинарах, которые устраивал для интеллигентов и рабочих, методам ухода от «негласного надзора» — перескакивать с одного транспорта на другой, пользоваться проходными дворами, менять имена и туалеты — и искусству шифрования: для этого бралась какая-нибудь книжка, хоть тот же Некрасов, — и начинали шифровать тексты — и дробями, и через точки над буквами в книжках, и «химией».

Все это оказалось весьма кстати, когда ВИ оказался взаперти на Шпалерной, где все его письма, разумеется, просматривались; приходилось прибегать к разным уловкам.

НК выполнила просьбу «жениха» — и в течение нескольких дней приходила на указанную точку; но то ли неправильно что-то поняла, то ли еще что-то пошло не так — и в следующий раз они увиделись только в Шушенском. В качестве компенсации за эту «невстречу» ВИ мог наслаждаться ассортиментом тюремной библиотеки; мало того, в камеру разрешалось передавать книги с воли. Воспользовавшись случаем без помех погрузиться в запутанный статистический материал, Ленин договаривается с сестрами о поставках литературы — и энергично работает над «Развитием капитализма в России», дважды в неделю получая посылки. В перерывах между книгами он занимался гимнастикой, переписывался легально со знакомыми и нелегально, точками, через книги из тюремной библиотеки, с Мартовым, перестукивался через стенку со Старковым («ухитрялись даже играть в шахматы»), много ел (чтобы писать тайные послания молоком между строк писем и на книжных страницах, нужно было иметь «чернильницы»); ВИ приноровился лепить их из хлеба — и вынужден был отправлять их в рот всякий раз, когда щелкала форточка в двери; «Сегодня съел шесть чернильниц», — отчитывался он в письмах НК; будущая теща нашла его в феврале 1897-го несколько пополневшим), проявлял шифровки не на свечке, как принято было, а макая бумагу в горячий чай — имея последний в достатке («Чаем, например, с успехом мог бы открыть торговлю, но думаю, что не разрешили бы, потому что при конкуренции с здешней лавочкой победа осталась бы несомненно за мной»). Его веселое настроение

разделяли далеко не все, кто пытался штурмовать питерское небо, — например, Потресов просидел пять месяцев из тринадцати не на Шпалерной, а в Петропавловке, где порядки в это время были таковы, что одна из заключенных, народоволка Ветрова, облилась керосином из лампы и сожгла себя заживо в знак протеста. Другой товарищ ВИ, студент-технолог Петр Запорожец, впал в одиночке в депрессию, связанную, не исключено, с тем, что ему дали срок ссылки на два года больше, чем всем, — якобы как главарю. Он проявлял беспокойство и подозрительность, его раздражало все, связанное с цифрой «два», — до такой степени, что он растоптал один из цветков, который невеста Ванеева принесла в тюрьму; уже после ссылки, сильно осложнив жизнь своим товарищам, он набросился на мать с ножом и умер в психбольнице.

ВИ, представитель совсем иного психотипа, сохранил здоровье душевное и уделял много внимания физическому.

Помимо книг и белья, он выписывал себе минеральную воду из аптеки, клистирную трубку и один раз зубного врача.

Видимо, лучшим биографом Ленина стал бы тот, кто сумел осмотреть его с раскрытым ртом и привязанными к стоматологическому креслу руками. Всю жизнь ВИ терзали зубные демоны — и он не только мучился от боли, появляясь с подвязанной нижней челюстью в самых неподходящих местах, но и использовал стоматологические образы в своей политической деятельности: «у партии имеются два флюса: флюс справа и флюс слева — ликвидаторы и отзовисты... партия сможет снова окрепнуть только в том случае, если она вскрыет эти флюсы»; «ближе мы подходим к тому, чтобы окончательно вырвать последние испорченные зубы капиталистической эксплуатации, — строить наше экономическое здание».

Именно из-за зубных врачей — которых охотно брали как в подпольные политорганизации за удобство использования кабинетов в качестве нелегальных хабов, так и в полицию, по той же причине, — в конечном счете ВИ и оказался в тюрьме и ссылке: «Союз борьбы» выдал 24-летний дантист Михайлов. ВИ вычислил его только уже на Шпалерной — и написал об этом между строк книги «Сельскохозяйственные рабочие и организация за ними санитарного надзора в Херсонской губернии». Рабочие, оставшиеся без сэнсэя, собирались убить провокатора еще в 1896-м, но Михайлов ускользнул, а когда опасность рассосалась, вернулся к своей трикстерской деятельности: в 1902-м свел попа Гапона с Зубатовым и не смог пережить лишь лето 1906-го, когда его, тогда уже начальника сыскной полиции Севастополя, расстреляли на улице эсеры.

Опять же с подвязанными зубами Ленин — совпадение? — проследовал мимо Шпалерной вечером 24 октября 1917-го по дороге в Смольный, едва свернув с Литейного моста; как раз где-то на пятчке, который он указал в качестве места встречи своей невесте, стоял пикет пелевинских юнкеров в «Хрустальном мире». Такого рода здания редко меняют свое назначение, и неудивительно, что теперь там находится «следственный изолятор центрального подчинения» СИЗО-3 ФСИН России. На просьбу автора книги, отчаянно размахивавшего «официальным» письмом из издательства, разрешить с ознакомительными целями посещение камеры номер 193, которая в советское время пусть не была открытым музеем, но оставалась мемориальным помещением, по указанному на сайте телефону было сказано буквально следующее: «Там ремонт, ничего нет, ни музея, ничего, стены разбиты, самой той камеры больше не существует».

Не имея возможности заглянуть в это «великое ничто», мы можем, однако, реконструировать, как ВИ там очутился.

По приезду из Самары в его распоряжении имелись как деньги для аренды квартиры, так и рекомендательные письма, касающиеся и работы, и потенциальных единомышленников по части марксизма; статус помощника присяжного поверенного позволял ему попадать в весьма респектабельные места относительно свободно; ему не нужно было «завоевывать» столицу, как д'Артаньяну Париж, поэтому трансплантация из одной среды в другую прошла быстро, безболезненно и, сколько известно, без приключений.

Судя по отчетам мемуаристов, жизнедеятельность ВИ протекала в трех режимах. В адвокатской среде он был сын действительного статского советника И. Н. Ульянова и носил фрак с цилиндром. Выезжая на окраины, одевался самым непритязательным образом — сами рабочие и те удивлялись помоечному виду своего «Николая Петровича». Наконец, естественной средой для него была студенческо-интеллигентско-разночинная. К «Аяksam» и студентам-технологам ему даже не нужно было адаптироваться. С одной стороны, он был «брат повешенного». С другой — к отцу ВИ обращались «Ваше превосходительство»; и это тоже был элемент выигрышной комбинации, чтобы занять место среди «духовной аристократии» (Струве был сыном губернатора, Потресов — генерала, Калмыкова — женой сенатора, Мартов — из богатой буржуазной семьи); все участники этого кружка впоследствии сделали большие карьеры — академические и политические.

Естественно предположить, что Ульянов прибыл в Петербург, чтобы сделать карьеру, связанную с юриспруденцией; однако, судя по его поведению, непохоже, что продвижение по этой части

всерьез интересовало его. Тем не менее он не пренебрегал и социальным камуфляжем — позволявшим отвлекать внимание от своей нелегальной деятельности. В начале сентября 1893 года по рекомендации самарского адвоката Хардина Ульянов зачислен помощником присяжного поверенного к петербургскому адвокату Михаилу Волькенштейну — который учился в одном классе с Чеховым и написал об этом воспоминания, однако не посчитал нужным рассказать потомкам о своем необычном подчиненном: досадная оплошность, учитывая, что в феврале 1917-го архивы окружного суда Петербурга сгорели и понять, какие именно дела вел Ульянов, невозможно. Косвенные свидетельства указывают на то, что ВИ сам выбирал себе дела — но не по громкости и прибыльности, а по социальному признаку: его интересовало все, связанное с рабочими. Обычно такого рода дела назначал адвокату суд; «хлебными» их точно назвать было нельзя — и, видимо, они позволяли лишь перебиваться из кулька в рогожку, с расчетом на пенсию матери. М. А. Сильвин пересказывает ответ Ульянова на вопрос, «как идет его юридическая работа»: «Работы, в сущности, никакой нет, что за год, если не считать обязательных выступлений в суде, он не заработал даже столько, сколько стоит помощнику присяжного поверенного выборка документов на ведение дел». Формально Ульянова отчислили из состава присяжных поверенных уже после суда, в 1898 году.

Содержать семью ему было не нужно, квартиры — судя по тому «гробу Раскольников», что показывают сейчас в Большом Казачьем, где ВИ прожил с 14 февраля 1894-го по 25 апреля 1895-го, — он нанимал недорогие; доходят, правда, глухие слухи, что до знакомства с НК он якобы ухаживал не то за некой хористкой Мариинского театра, не то... однако все это сведения из серии «глухой слышал, как немой сказал, что слепой видал». Разумеется, как все сообщества прогрессивных молодых людей, марксистские салоны, помимо прочего, выполняли еще и функцию клубов знакомств, где складывались сложные отношения между мужчинами и женщинами. Мартов, например, был влюблен в Любовь Барановскую, подпольная кличка которой, «Стихия», позволяет предположить наличие у нее соответствующего темперамента; она, однако ж, вышла не за него, а за будущего агента «Искры» Радченко. Струве был официально приемным сыном издательницы Калмыковой, но по факту в течение трех лет — ее любовником. Ульянову якобы нравилась Аполлиария Якубова, но она вышла за Тахтарева, и поэтому ВИ познакомился с ее подругой Надеждой Крупской... Астагфирулла, астагфирулла, астагфирулла — как говорили в таких случаях казанские приятели ВИ из мусульман.

В Петербурге Ленин жила, «по-крупному», трижды — с десятилетними примерно интервалами. Большую часть времени ему приходилось укрываться от кого-либо — поэтому знание местности, проходных дворов и переулков было критически важным; и когда в 1905-м и 1917-м он несколько раз просил «достать ему план города» — это не означает, что он совсем не ориентируется на местности: просто если придется уходить от преследований, надо знать больше, чем обычный человек. Для организатора и «маршрутизатора», любящего быстрое планирование, Петербург — сложно устроенный, разрезанный реками и мостами на сектора — представлял хорошее поле для игры. Ленин, по-видимому, не был особо привязан к этому городу — но кажется очень «питерским» типом.

Многому научившийся и в казанских федосеевских кружках, и в самарских разговорах с Хардиным, Ленин к середине 1890-х был настоящим магистром конспиративных искусств и своим даром ускользать от филеров, используя подвернувшиеся по ходу декорации, напоминал персонажей гайдаевских комедий. Он не только менял квартиры, чтобы хозяева не запоминали людей, которые к нему приходили, но и был выдающимся знатоком питерских подворотен, проходных дворов и прочих особенностей городского лабиринта; его манера «шмыгать» в случайно подвернувшиеся подъезды, комнаты швейцаров вызывала восхищение. «Кто-то спускается с лестницы и видит, что сидит в комнате швейцара неизвестный человек и покатывается со смеху», — воспроизводит один из таких кадров с точки зрения случайного прохожего мемуарист.

У Ленина, несомненно, был определенный театральный дар, позволявший ему выдавать себя то за русского рабочего, то за финского косца, то за мастера-англичанина, то за повара-финна; вкупе с его осторожностью это позволяло ему безболезненно перемещаться по районам, чья репутация никогда не была на высоте.

Как он выглядел, какое производил впечатление и что представляла собой его повседневная жизнь?

Все согласны в том, что 24-летний ВИ выглядел много старше своих лет — отсюда уже тогда прилипшая к нему кличка «Старик». Бабушкин в «Воспоминаниях» приклеивает лектору слово «Лысый», Мартов — «Тяпкин-Ляпкин» («На вопрос о происхождении второго прозвища товарищи мне разъяснили: он у нас до всего своим умом доходит»). Шелгунов замечает, что «волосы, усы, борода тоже были в каком-то беспорядке. Лицо было как будто в морщинах, так что он произвел на меня впечатление человека, которому было уже к сорока годам». Что касается режима дня,

то Сильвин рассказывает, что ВИ в период проживания в Казачьем — это рядом с Гороховой, в общем, центр города — вставал в семь-восемь часов, работал дома, часам к одиннадцати шел в читальню газеты «Новости» на Большой Морской. Вторая половина дня, видимо, была посвящена нелегальщине.

«Ленинская» группа — «Старики», по внешности главаря — была одной как минимум из трех «банд» марксистов-практиков, занимавшихся на окраинах кружковой деятельностью; с ними в первой половине 1890-х конкурировали еще «Обезьяны» (тахтаревская группа) и «Петухи» (чернышёвская) — марксистов, готовых просвещать рабочих, было больше, чем потенциальных учеников. Все они были хорошо законспирированы и состояли из людей, которые вели двойную жизнь, все к 1895-му перешли от просвещенческой деятельности — за которой стоял поиск сознательных рабочих — к агитации: «сознательные» должны будут подтолкнуть своих коллег устраивать массовые беспорядки; опыт участия в бунтах, предполагалось, подготовит рабочих для вступления в массовую организацию. Интеллигентам, «профессиональным» марксистам нужно было подливать масла в огонь — чтобы стихийные экономические требования превращались в обдуманные политические.

И «Старики», и «Обезьяны», и «Петухи» рано или поздно проваливались — и оказывались за решеткой; таким образом, надо осознавать, что быть «нелегальным марксистом» в середине 1890-х означало не только принадлежать к прогрессивной интеллигенции и наслаждаться вниманием курсисток на студенческих вечеринках, но и состоять в «обреченном отряде»; хобби примерно такого же рода, что полеты на воздушном шаре.

Сегодняшние представления о кружковых занятиях интеллигентов с рабочими сводятся, пожалуй, к картинке в духе иллюстраций к ориенталистским книжкам: восседающий на ковре в позе лотоса мулла монотонным голосом зачитывает цитаты из Корана, и окружающие его ученики бьются лбами об пол. Ульяновские занятия выглядели скорее как гибрид лекций и дискуссий; ВИ читал «Капитал» и на примерах из жизни разъяснял, что все это значит; чтобы ученики усваивали материал, «Николай Петрович» обострял свои тезисы, переводил разговор на бытовые вопросы и даже на личности, вовлекал в спор, заставлял приводить оригинальные доводы: ведь из кружковцев должны были выйти агитаторы, способные сами растолковать рабочим, зачем им вступать в войну с хозяевами, которые могут их уволить или коррумпировать.

Взамен «Николай Петрович» требовал заполнять анкеты, состоящие из подробных вопросов об условиях жизни рабочих:

дорого ли молоко? читают ли женщины? сколько процентов берут штрафов за опоздание? Это анкетирование было едва ли не самой серьезной частью кружковой деятельности: «студентам» объяснялось, что они должны отнестись к своей среде «научно», изучать свой завод, как сыщик — место преступления. Заглядывайте в соседние мастерские, в окна корпуса администрации, в чужие кастрюли — в общежитиях, и везде разговаривайте, и в особенности держите уши на макушке, когда речь заходит о зарплатах, штрафах, трудовом графике, случаях, приведших к инвалидности, увольнении, готовящихся стачках и произведенных арестах; бытовые условия, распорядок дня и диета рабочих — всё запоминайте, всё записывайте, потом об этом и потолкуем.

Дело не ограничивалось только «Капиталом» и «Манифестом коммунистической партии»; каждый лектор брал своим.

Кто-то описывал высокотехнологичный Небесный Иерусалим, куда еще немного и вступит пролетариат; мир, где все работают и всё общее, производил особенно сильное впечатление на питерских рабочих — которые в тамошнем климате и «достоевской» атмосфере, оторванные от деревенской жизни и затурканные на фабриках, становились нервными и мечтательными. Кто-то, как Г. Алексинский, показывал литографию с «Сотворения мира» Айвазовского: «Товарищи! Вы, наверно, все видели в музее Александра III картину Айвазовского “Сотворение мира”»? Все не устроено, в беспорядке, в полутьме, но вдруг этот хаос озаряет луч света. Этот луч света вносит в среду пролетариата его рабочая партия». Туган-Барановский уверял, что уже через 30 лет пролетариат всё сметет, перестанут существовать частная собственность и государство, все будут свободны и все научатся летать — с помощью авиации. ВИ — «Николай Петрович» — работал совсем в другом режиме и стилистическом диапазоне — и выступал еще и в роли юрисконсульта со специализацией по трудовому праву, способного просветить не только касательно пресловутой прибавочной стоимости, но и насчет того, считать ли праздником запусы или пятницу масленичной недели, сколько именно делятся положенные для отдыха полдня сочельника, каково минимальное количество часов, которые рабочий может трудиться без перерыва на прием пищи, когда считать, что заканчиваются ночные часы — в 4 или в 5 утра, — и допускаются ли отступления от закона в случае внезапной порчи орудий, а также для вспомогательных работников, занимающихся уходом за котлами, обеспечением освещения и пожарной службы. Это создало ему недурную репутацию — и хотя он не расписывал, «как все будет в двадцатом веке», на его «семинарах» никогда не было пустых стульев.

Это только сейчас кажется, что нет ничего проще, чем разагитировать живущих в чудовищных условиях рабочих; на самом деле не такая уж податливая это была среда. М. Туган-Барановский вспоминает, как еще в 1880-х они с приятелями пытались агитировать крестьян — и тотчас столкнулись с криком: «На вилы их!»; и если бы не жандарм, то и некому было бы писать мемуары. Многие рабочие не доверяли чужим и отбрыкивались: сами, дескать, с усами; у них была своя традиция «кучкования» — идущая от Степана Халтурина.

В 1890-е «смычка» между интеллигентами и пролетариатом стала более привычной, но не сразу. Всякая попытка протянуть руку чревата была последствиями — иногда комичными (когда работницы табачной фабрики Лаферм приняли одного агитатора за «нахального Дон-Жуана и чуть не избили»), иногда не очень — так, марксиста Тахтарева в 1894-м рабочие на Шлиссельбургском проспекте отлупили по-настоящему — просто за то, что он не снял шапку, проходя мимо церкви. Надо понимать, что он возвращался домой после того, как провел занятие в своем кружке, то есть выглядел, как они; «Если бы они заподозрили во мне “интеллигента” и “бунтаря”, дело обошлось бы, по всей вероятности, еще хуже». Чтобы успешно общаться с рабочими, нужно было знать множество *Dos&Donts*: можно ругать правительство и попов, но — по крайней мере так было до 1905-го — ни в коем случае не царя: «Чашки бей, а самовара не трожь». Отсюда, собственно, озадачивающие лозунги, иногда выбрасывавшиеся самими рабочими: «Долой самодержавие, а царя оставить»; отсюда добровольное участие 50 тысяч рабочих — колоссальная цифра для 1902 года — в подношении венка к монументу Александру II в Москве. Неудивительно, что многие разочаровывались: если агитировать против монархии можно только под защитой полиции, то зачем такая агитация?

Марксистов в Петербурге было больше, чем щелей в том заборе, что отделял их от социального «материала», которым они собирались пробавляться. И раз работа с «массой» была невозможна, приходилось отыскивать и обучать азам марксизма отдельных сознательных рабочих, которые потом понесут идеи в массы, общаясь с ними на их языке: вы — сила, если сможете организовать, вы можете не просто получать больше денег, но стать властью; слабо?

Люди с экстраординарными коммуникативными способностями всегда ценятся в обществе, но особенным дефицитом в 1890-е были те, кто имел контакты в разделенных условиях существования мирах: разночинном и пролетарском Петербургах.

Один из старейших членов «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», счастливо избежавший в 1895-м ареста Васи-

лий Шелгунов, работал на Обуховском заводе и одновременно был «студентом» технолога Германа Красина, брата Леонида. Сolidный человек, он увлекся марксизмом и активно пользовался своим природным талантом заводить знакомства; его записная книжка толщиной напоминала «Желтые страницы», и именно этот человек разогревал среду до той температуры, когда социальные атомы начинали активно двигаться; благодаря Шелгунову, который через несколько рукопожатий знал, кажется, всех рабочих Петербурга, пролетарский Петербург вошел в плотную смычку с интеллигентским. Когда осенью 1894-го Шелгунов пригласил нескольких социал-демократов поработать в кружках, при дележке города на районы Ульянову, Мартову и Кржижановскому достался Шлиссельбургский тракт — Невская застава.

Расположенная на юго-восточной окраине Петербурга Невская застава была огромная — самая, наверно, большая в дореволюционной России — промзона, больше чем на десять километров растянувшаяся вдоль Невы, особенно с той стороны, по которой идет Шлиссельбургский тракт — нынешний проспект Обуховской Обороны.

Невская застава была настоящей твердыней русского капитализма; ее называли «русским Манчестером» или «русским Сент-Антуанским предместьем». Там было около пяти десятков заводов и фабрик — военных, чугунолитейных, ткацких, бумагопрядильных, стеариновых, химических, пивных, писчебумажных; из них десятков настоящих монстров — таких как Обуховский или Семянниковский. Возможно, сейчас она в меньшей степени «на слуху» в качестве очага революционного движения Петербурга, чем Выборгский район, — потому, наверно, что в последнее десятилетие перед революцией дух бунта почему-то там подвыдохся; однако в 1890-е то было самое перспективное в России место, с самыми сознательными и взрывоопасными пролетариями, и неудивительно, что Ульянова, для которого каждая фабричная труба была тем же, что бобовый стебель для сказочного Джека, тянуло сюда магнитом. Это был одновременно книжно-романтический — но скорректированный практическим опытом общения трезвый, прагматичный интерес; судя по текстам, Ульянов не испытывал по отношению к рабочим религиозного благоговения (класс вряд ли самостоятельно справится с ролью спасителя мира от капиталистического апокалипсиса) и уже тогда, как и после, выступал против абсолютной самостоятельности рабочих организаций: они должны работать совместно с «учеными» социал-демократами, взаимодействовать — но не оставаться самостоятельными политическими единицами.

Чаще всего фабрики в России открывали те, у кого были технологии и машины, — англичане и немцы. Особенно удобно им было работать в Петербурге, где были дешевая рабочая сила и приемлемая бизнес-среда. Отсюда фабрика Торнтона, мануфактура Максвелла, Александро-Невская мануфактура Паля, Невская писчебумажная (Джон Гобберт + Александр Варгуни); да и Семяниковский завод основал в 1857 году человек по фамилии Томпсон.

К началу 1890-х Россия напоминала Китай (переставьте одну цифру) начала 1980-х: изобилие полезных ископаемых, почти неисчерпаемая дешевая рабочая сила — идеальный плацдарм для разворачивания капитализма, особенно любопытный для наблюдателя в силу многочисленных «но», тормозящих эксплуатацию всех этих естественных богатств: закрытая таможенная система, затруднительность иностранных инвестиций, а главное — «невысокое качество русского труда», то есть низкая производительность — которая была для марксистов такой же проблемой, как для самих капиталистов; именно поэтому, когда товарищ с возмущением рассказывал ВИ о диких нравах начальства на одной сапожной фабрике: «За все штраф! Каблук на сторону посадишь — сейчас штраф», — тот смеялся: «Ну, если каблук на сторону посадил, так штраф, пожалуй, и за дело».

«Несмотря на то, что русский рабочий получает гораздо меньше западноевропейского, труд в России обходится едва ли не дороже, чем на Западе. В Англии на 1000 веретен — 3 рабочих, в России, по расчету Менделеева, — 16,6. Поэтому получая в 4 раза высшую плату, английский рабочий обходится дешевле фабриканту, чем русский рабочий», — чеканит цифры политэконом М. Туган-Барановский. Низкая заработная плата, длинный рабочий день, полицейские запреты на любые виды протестов плюс невежество и безграмотность рабочих — вот те особенности, которые определили «физиономию» русской промышленности, обрекли ее на зависимость от иностранных технологий — и на тот сценарий, который реализовался после 1917 года, когда рабочие сами «национализировали» фабрики и заводы.

Трансформация сельской местности вокруг Петербурга в индустриальную зону, подразумевающая заселение ее людьми, оторвавшимися от почвы, началась еще при Петре, который, во-первых, переместил сюда ямщиков из Смоленской губернии — чтобы обслуживали Шлиссельбургский тракт, во-вторых, заложил здесь несколько кирпичных заводов, обеспечивающих Петербург стройматериалами. Основная масса заводов возникла уже в XIX веке — и комплектовалась мужчинами, которые пона-

чалу приезжали из деревень только на зиму, подработать, а потом, вкисив городской жизни, перевозили в слободки семьи.

Петербург работал гигантским пылесосом, который на протяжении десятилетий высасывал рабочую силу из деревни, особенно из северных губерний — Вологодской, Псковской, Архангельской. Есть сведения, что к концу 1890-х «natural born», потомственными пролетариями были 89 процентов рабочих города. На Торнтоне, Обуховском, Путиловском, Балтийском можно было увидеть толпы людей, проработавших на одном месте по четверть века. Именно в этой среде и следовало искать грааль марксистов — «сознательных» рабочих, сверхчеловеков-мессий, которые и должны были самоорганизоваться в процессе буржуазной революции, а затем совершить свою. Всего в Питере были сконцентрированы около пяти процентов от всего тогдашнего российского пролетариата: примерно 150 тысяч «настоящих» фабрично-заводских рабочих (то есть исключая строителей, грузчиков, кустарей и т. д.).

Молодые марксисты, унаследовавшие от народников интерес к перспективным в научно-историческом смысле классовым контингентам, смотрели на этот процесс как на сжатие стальной пружины, обратный ход которой можно направлять, — и изучали этот новый антропологический вид, расу, которая должна была стать материалом для преобразования истории, с тем же усердием, с каким Дарвин исследовал своих зябликов, а Александр Ульянов — пиявок. По тому, как быстро развивались события, какой эффект оказывала на массы пропаганда, было ясно, что вопрос, подействует ли на пролетариев оживляющий порошок марксизма или нет, уже не стоит; вопрос стоял: как скоро?

Политическая жизнь носила отчетливо сезонный характер, и с цветением черемухи деятельность кружков сворачивалась, интеллигенция рассеивалась по дачам. В 1894-м ВИ выехал из Петербурга к середине июня — чтобы провести лето под Москвой, в Люблине, на даче у семьи сестры, Елизаровых. В парке в Кузьминках до сих пор стоит менгир, напоминающий, что Ленин не болтался в этой сельской атмосфере без дела, а работал над «Друзьями» и переводом «Эрфуртской программы» Каутского; было бы правильнее поставить памятник либо с печатной машинкой (потому что именно здесь ВИ впервые попытался научиться — без особого успеха — печатать), либо, еще лучше, с велосипедом: во-первых, потому, что это лучший символ для выражения политических и этических идей Ленина, а во-вторых, потому что именно в этих местах он научился кататься на велосипеде — чтобы затем на протяжении всей жизни оставаться страстным, как тогда говорили, «циклистом». Машина, на которой учился ездить ВИ

(а также его младший брат, Дмитрий Ильич, и сосед Елизаровых по люблинской даче толстовец Павел Буланже), весила 53 фунта и принадлежала Марку Елизарову: он служил на железной дороге и мог себе позволить предоставлять родственникам и знакомым новинку для экспериментов.

В Европе в середине 1890-х был настоящий велосипедный бум; езду на велосипеде рекомендовали как средство физиологического и социального оздоровления. В одной России издавалось четыре профильных журнала («Циклист», «Велосипед», «Самокат», «Вестник Московского общества велосипедистов-любителей»), и решительно все учились кататься; даже 67-летний Толстой, одновременно с Лениным. Август Бебель ввел моду на велосипед в среде европейской социал-демократии — воплощение демократичности, он, депутат рейхстага, прикатывал на нем на рабочие митинги в Берлине; и даже Плеханову, который считал следование моде ниже своего достоинства, пришлось, морща нос, дотронуться до руля и седла велосипеда, принадлежавшего сыну П. Аксельрода: «А что, хорош велосипед? Не прокатиться ли и мне на нем? Или неудобно тамбовскому дворянину ехать на стальном коне?» Ему в его светлом костюме, желтых ботинках и лайковых перчатках, видимо, представлялось, что это недостаточно элегантный для него аксессуар.

Ленин умел крутить восьмерки, чинить прямо на тротуаре проколотые и лопнувшие шины и именно что гонять, не обращая внимания на красный свет светофоров и другие предупреждающие сигналы; он постоянно попадал в аварии и, судя по отчетам тех, кто встречал его на улицах разных европейских городов, представлял собой на велосипеде что-то вроде колесницы Джаггернута — готовый продемонстрировать всякому, кто не разделяет его взгляды, свои преимущества в скорости, ну или, в худшем случае, преподать самому себе урок диалектики: сядишься на велосипед, а слезаешь с кучи металлолома.

Как и во многих прочих сферах, он посвящал себя не только практике, но и педагогической деятельности; сразу несколько мемуаристов, по странному совпадению женщины, рассказывают о своем опыте по этой части. Особенно запоминается — потому что вообще эта женщина ненавидела Ленина и сообщала об этом при любой возможности — свидетельство жены Г. Алексинского. Т. Алексинская никак не могла преодолеть страх и поехать одна, без поддержки; она угодила в ученицы Ленина летом 1907-го в Финляндии. «Вдруг, усмехнувшись, он подходит и говорит: “Запомните хорошенько одно: нужно только захотеть! И когда вы почувствуете, что желание охватило вас всецело,

то смело в путь, все достигнете! А теперь, — он с силою толкнул мой велосипед, — *de l'audace, encore de l'audace et toujours de l'audace!*». «Для победы нам нужна смелость, смелость и еще раз смелость» — пожалуй, дантоновская цитата сообщает этому символу Ленина еще одно измерение.

Летом 1895-го ВИ выбирается из города уже в конце апреля — намереваясь всерьез подлечить свой желудок и заодно наладить контакты с европейскими социал-демократами. Май он проводит в Швейцарии, июнь — в Париже, июль — август — в Берлине и опять в Швейцарии и в сентябре завершает свое турне в Прибалтике.

Побывав в Берлине и Париже (у Поля Лафарга, который охладил его энтузиазм касательно возможности вбить рабочим Маркса кружковыми, «книжными» чтениями: «Они ничего не понимают. У нас после 20 лет социалистического движения Маркса никто не понимает») и поправив, в обществе Аксельрода, здоровье на швейцарском горном курорте, ВИ едва не доехал до Лондона — но договориться о встрече с Энгельсом не удалось: 75-летний сагамор, находившийся при смерти, не пожелал принять молодого русского социалиста и тем же летом отправился в страну вечной охоты, так что еще и некролог пришлось с колес писать.

Европа завораживала 25-летнего адвоката прежде всего легальностью социализма: там можно было свободно посещать социал-демократические собрания, свободно выходили журналы, газеты для рабочих; ВИ набрасывался на этот тип потребления с жадностью. В Швейцарии состоялось его знакомство с будущими соредакторами по «Искре». Плеханов только что закончил книгу с сулящим увлекательное путешествие в мир марксистской философии названием «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю»: тотальная ревизия истории, философии, экономики и, среди прочего, либерального народничества с марксистских позиций; и хотя Плеханова, полагавшего, что литературных талантов Ульянова едва ли хватит даже на создание инструкции, как пользоваться утюгом, прошиб бы холодный пот от одной лишь мысли об этом, однако если бы в типографии перепутались страницы «Монистического взгляда» и «Друзей», то никто бы этого не заметил.

ВИ нарисовался в Женеве и Цюрихе не просто как очередной марксист-самоучка, из тех, что съезжались к Плеханову и Аксельроду на манер китайских туристов, целыми группами. Отгектографированные «Друзья» добрались уже и до Плеханова с Аксельродом — которые очень нуждались в связях с организацией рабочих с конкретных предприятий, а не «русскими рабочими вообще»;

такого рода организацию они могли бы представлять в Европе на конгрессах Интернационала, и поэтому Ульянов был интереснее им едва ли не больше, чем они ему. Совместное периодическое издание? Отлично. Манифест российской социал-демократии? Да хоть завтра. Устроить что-то вроде съезда делегатов от российских марксистских кружков? Устраиваем. Хотим создать партию по образцу немецких социал-демократов? Прекрасно, давайте оформлять, немедленно! И он уехал оформлять.

Относительно того, кем он видел себя в этой будущей партии, сведений нет; были люди и с большим опытом, и более начитанные, и с настоящим боевым прошлым — как Плеханов, как Струве, как Вера Засулич. Но Плеханов эмигрировал из России пятнадцать лет назад, Струве был на настоящей, с живыми рабочими, фабрике один раз, на экскурсии, а Вера Засулич к тому моменту была скорее литературным критиком, чем террористкой. Однако ж и ВИ до поры до времени не проявлял претензий на лидерство.

Плеханов связал Ленина с Вильгельмом Либкнехтом — «штудирен, пропагандирен, организирен» которого ВИ так кстати цитировал в «Друзьях народа», — и, видимо, как раз эти двое и помогли Ленину раздобыть главный трофей его поездки. То был чемодан с настолько хитроумно сделанными потайными внутренностями, что туда поместился целый мимеограф — недавно изобретенное Эдисоном устройство: металлический цилиндр с ручкой сбоку, который, проворачиваясь, копирует вложенную в него бумагу. По тем временам это было примерно то же, что везти в Москву 1970-х ксерокс: можно было делать 600–800 копий, в 15 раз больше, чем на гектографе. Таможенники или жандармы, похоже, обнаружили, что с чемоданом что-то не то, но не стали конфисковывать его — в надежде проследить за владельцем и выйти на всю банду. ВИ, однако, был готов к этому — и умудрился подменить заветный чемодан по заранее обговоренной с товарищами схеме на поддельный, который он демонстративно — якобы уходя от погони — зашвырнул в Екатерининский канал, заставив филеров искать его там с водолазами. Прибор проработал в «Союзе» еще несколько лет, пережив повальные обыски декабря 1895-го.

За ту пару лет, что ВИ «работал» в Петербурге, у него образовалось несколько групп в разных районах — на Нарвской заставе, Васильевском острове, Черной речке, и это только достоверно известные. Но поскольку особым вниманием ВИ пользовалась именно Невская застава, нет ничего удивительного в том, что когда конструкторы Ленинлэнда пришли к мысли увековечить героический пренатальный период РСДРП, из тех десятков адресов, где

ВИ регулярно встречался с рабочими, преподавал в кружках или посещал собрания, выбран был «шелгуновский».

То, что сейчас называется «Домиком Шелгунова», на самом деле В. А. Шелгунову не принадлежало, и сам он был там сбоку припека — снимал жильцом комнату. Тем более никогда не жил там сам ВИ. И всё же многие местные жители уверены в обратном — и хотя они не правы, здесь обязательно надо побывать всем, кто «охотится» за «молодым Лениным» в Петербурге.

Между грязно-серыми, как из балабановских фильмов, пятиэтажки Новоалександровской улицы разбит скверик; к нему примыкает аллея, радующая глаз набором небольших стел-полуколонн, напоминающих не то о монолитах-радиоизлучателях из «Космической одиссеи», не то о столбиках-гномонах. Древние астрономические инструменты увенчаны бюстами: Крупская, Шелгунов, Шотман, Бабушкин... ну и Ленин, конечно. Сразу за ними, в самом центре оазиса, стоит аккуратный деревянный двухэтажный теремок, будто принесенный ураганом из Канзаса.

Этот коттеджец, принадлежавший хозяевам соседней Карточной фабрики, был рассчитан на четыре семьи рабочих; две верхние комнаты занимала семья Яковлевых — а еще одну они пересдали обуховцу Шелгунову (обычно рабочие старались снять у хозяев побольше, чтобы потом и самим что-то иметь от аренды), и уж тот принялся «водить» сюда Ленина.

Скорее всего, в 1890-е дом был обычным, хотя далеко не самым ужасным бараком, каких было понатыкано по округе десятки и сотни, целый лабиринт: халупа для рабочих с сортиром во дворе. Но сейчас теремок выглядит едва ли не романтично: сельская идиллия посреди спрута-города; совсем не похоже на бараки, как в романе «Мать» или в советских диорамах.

После блокады дом остался один в округе — все остальные деревянные строения сожгли: не хватало топлива для ТЭЦ; и сейчас это музей «Невская застава». Разумно, по нынешним временам, переформатировавшийся из политически ориентированного в краеведческий, он поддерживается в превосходном состоянии — и не только позволяет увидеть подлинную толстовку В. Шелгунова, но заставляет взглянуть другими глазами на весь район: а ведь в самом деле, прекрасно сохранилась и краснокирпичная Невская писчебумажная фабрика Варгуниных, где работали обитательницы дома Шелгунова; функционирует Александровский чугунолитейный, где в 1845-м был собран первый русский паровоз, — теперь это «Пролетарский», выпускает, к примеру, судовое оборудование. Действует и знаменитый Семянниковский — живущий, конечно, не паровозами и миноносцами, но машиностроением. Даже

Императорская Карточная фабрика — хотя бы и скрывшаяся под блеклым псевдонимом Комбинат цветной печати — и то на месте; ее, правда, вот-вот перестроят под бизнес-центр — но цеха, замечательной красоты, остались, — и оказались в окружении современного жилого комплекса.

Нынешняя Невская застава — это район вокруг проспекта Обуховской Обороны, станций метро «Пролетарская» и «Ломоносовская», Володарского моста, Парка имени Бабушкина — и на другом берегу Невы Сквера текстильщиков и Невской мануфактуры. Даже на метро путь неблизкий — хорошие полчаса из центра; а тогда? От Николаевского, нынешнего Московского, сюда ездила «дымопырка» — паровая конка с «империалом» — местами наверху; наверху было дешевле — три копейки против пяти в салоне. Потом, от Смольного, пустили «паровичок» — поезд из пяти-шести вагонов с паровозиком, вроде тех «игрушечных», что сейчас ездят по ВДНХ или Горкам Ленинским, — но на рельсах, гораздо более неуклюжий и страшно дымящий. Путешествия на «паровичках» 1890-х часто оказывались далекими от идиллических. Бабушкин рассказывает, как рабочие одного из заводов, устроившие бунт, разъярившись, нападали на поезд, бросали в него камни, барабанили по стеклам палками (машинист сползал с сиденья, увеличивал скорость и пытался не глядя проскочить сложный участок; пассажирам приходилось валиться на пол); проще всего было положить что-нибудь на рельсы, чтобы устроить крушение — боялись, что паровоз и поезд раздавят самих же рабочих. Стачки, романтизированные в советское время, были жестоким мероприятием; ближайший их современный аналог — майданные события в республиках бывшего СССР, когда неугодных запикивают в мусорные ящики и закатывают в горящие автомобильные покрышки. Посторонним — даже сочувствующим — в толпе такого рода может прийтись несладко.

Характер выступлений рабочих Невской заставы был далек от систематического. То собрались в лесу по случаю смерти Энгельса. То сплавали на пароходе «Тулон» — да так, что ради конспирации напоили команду и управляли судном сами. В случае более долгоиграющих бунтов начинали ползти слухи — которые, когда доходили до посторонних марксистов-интеллигентов, часто оказывались устаревшими. Разумеется, информация о том, что «масса сама заговорила о себе громким голосом» — когда мастерицы на табачной фабрике Лаферм, возмущенные снижением зарплат, перебили в цехах окна и принялись крушить станки, была той музыкой, о которой мечтали уши Ульянова и его коллег по тайному обществу. А уж визит на фабрику градоначальника,

который распорядился поливать работниц ледяной водой из пожарных кишок и ответил на доводы стачечниц относительно невозможности прожить на предлагаемые деньги знаменитым: «Можете дорабатывать на улице», — требовал немедленных действий: усугубить, перевести из экономической в политическую плоскость, возглавить. Фабрики, однако ж, были закрытыми корпорациями, куда посторонним особого хода не было; если там и происходило нечто необычное, то объявления на стену не вывешивалось и пресс-секретарь стачечников газеты не обзванивал. Для подтверждения того или иного слуха непременно требовался живой свидетель, с самой фабрики, — но где ж его было взять, да такого, чтобы пошел на контакт? Или, точнее, такую: там же женщины. Неудивительно, что в какой-то момент мы застаем крайне мало пьющего Ульянова в трактире за Невской заставой, за столиком, откуда хорошо слышны не только гудки фабричных труб, но и чужие разговоры; как ни странно, важной частью деятельности марксиста-практика было подслушивание, и не всегда продуктивное: в тот раз, разумеется, посетители заведения смаковали пикантный момент обливания женщин водой, тогда как о политике или хотя бы о требованиях табачных леди речь не заводили; их собственное мнение сводилось к разумной сентенции: «А потому не скандал!»

По сути, первые попытки социал-демократов зацепиться своими зубьями за рабочую шестеренку были чем-то вроде социологических экспериментов; идеи «окончательной встряски» возникали самые экзотические. Так, однажды родился — и «встретил всеобщее одобрение» — план объявить на некой квартире большую сходку, стянуть туда как можно больше народу — с оружием, и одновременно отправить жандармам донос на самих себя. Смысл затеи состоял в том, чтобы принять бой — и хоть так, не мытьем так катаньем, «расшевелить» дремлющих обывателей, форсировать превращение стихийных экономических протестов в классово-политические. «Словом, получилось бы буквально одно из тех сектантских самосожжений, которые известны истории русского раскола».

Первая из сохранившихся листовок, сочиненных Ульяновым, обращена к рабочим Торнтон: вон она, мануфактура, торчит, на Октябрьской набережной, никуда не делась. Этот район — как и проспект Обуховской Обороны через Неву — не производит впечатления процветающего: у него неуютный, невзрачный, свидетельствующий о моральной изношенности вид; обычная вроде бы спальная полусоветская, полуноворусская окраина — но словно более усталая — и от бурного революционного прошлого, и от со-

ветской бетонной демьяновой ухи. Никакой джентрификации: трансформация краснокирпичных зданий мануфактур в редакции гляцевых журналов и лофты, как в Москве, еще не набрала популярность. Многие памятники, расставленные в советское время, украдены или выглядят гротескно и безобразно; еще одна волна «декоммунизации» — и от Невской заставы останутся только голые бетонные плиты непонятно какой эпохи. Однако если заменить помутневший от разрушенных ультрафиолетом XX века белковых структур хрусталик свежим протезом, серая стертая панорама вдруг наливается — хотя бы местами, фрагментарно — особой, токсичной красотой: граненые, украшенные «капителями» кирпичные трубы-колонны, кружевные багрянобежевые, словно из шотландского замка водонапорные башенки, островерхие неоготические силуэты фабричных цехов превращают пейзаж в произведение искусства, реди-мейд сувенир из эпохи 1890-х, когда фабрики были территорией страдания, обителями, где гнездилось химически чистое, беспримесное зло.

До революции Торнтон — не лишенное эlegantности пятиэтажное здание «индустриального дизайна» — был, пожалуй, одним из двух самых крупных предприятий на Невской заставе, наряду с Семянниковским (к рабочим которого, кстати, ВИ написал первую свою листовку вообще — так что теперь там, на территории, стоит каменный, что ли, факел — разлапистый, как елка, в полторы сажени шириной, — на котором написано, что это в честь той самой — не сохранившейся — листовки). Торнтон выпускал (да и сейчас, теоретически, выпускает; в советское время он назывался Комбинат тонких и технических суконов им. Э. Тельмана, а с 1992-го — АО «Невская мануфактура») шерстяные ткани: драп, фланель, шевиот.

Тысяча женщин и около девятисот мужчин, работавших на фабрике, выполняли тяжелую, однообразную работу в плохо пригодных для пребывания условиях, по 13–15 часов в день. У них была низкая производительность труда, и начальство с ними не церемонилось. Владельцами были англичане с гротескными именами Джеймс Данилович и Чарльз Данилович. Хозяева и высший менеджмент, обычно иностранцы, англичане, жили в деревянных виллах, разъезжали на автомобилях, у них была своя пристань — целый спектр возможностей быстро и с комфортом добраться до Невского. Для рабочих было построено пять домов, казарм: либо общие спальни, либо конурки для семейных; одна плита на десятки семей, хочешь, чтоб твой горшок со щами был поближе к огню — доплачивай кухарке по два рубля в месяц или ешь пищу полусырой. На одной кровати спали по несколько

человек, мастера устраивали себе гаремы, могли избить своего рабочего кнутом за то, что тот покупает водку не в фабричной лавке (где обвешивают и заведомо завышают цены). Это была какая-то индийская — или африканская, эфиопская — бедность. У многих рабочих все имущество помещалось в небольшой мешок или сундучок. Маленькие дети без призора; повсюду грязь, блохи, клопы, вши; нет ни света, ни водопровода. Младенцев выхаживают так, что лучше даже не писать о том, как выглядела соска, чем их кормили и как предотвращали крик. У Торнтонов было даже свое кладбище — не такое уж редко посещаемое место, учитывая, что средняя продолжительность жизни в России составляла тридцать два — тридцать три года.

В ноябре 1895-го здесь вспыхнула забастовка — которой и попытался дирижировать «Союз борьбы за освобождение рабочего класса», подпольная социал-демократическая организация, созданная ВИ на основе марксистского кружка студентов Технологического института. Первую листовку — с изложением требований — сочинил Г. М. Кржижановский. Когда забастовка кончилась, за перо взялся Ульянов; текст сохранился. «Ткачи своим дружным отпором хозяйской прижимке доказали, что в нашей среде в трудную минуту еще находятся люди, умеющие постоять за наши общие рабочие интересы, что еще не удалось нашим добродетельным хозяевам превратить нас окончательно в жалких рабов их бездонного кошелька». После звучащей «по-пелевински» прижимки начинается «сорокинщина»: «В шерсть стали валить, без всяких оговорок ноллеса и кнопа, отчего странно замедлялась выработка товара, проволочки на получение основы, будто ненароком, увеличались, наконец, стали прямо сбавлять рабочие часы, а теперь вводят куски из 5 шмиц вместо 9, чтобы ткач почаще возился с хлопотами по получению и заправке основ, за которые, как известно, он не получает ни гроша». И заканчивалось все шестью требованиями с интонацией Ваньки Жукова — «чтобы в расценках не было обмана, чтобы они не были двойными» и т. п. («Например, бибер мы ткали по 4 р. 32 к., а урал всего за 4 р. 14 к., — а разве по работе это не одно и то же?»)

На самом деле, если знать контекст и понимать, о чем идет речь (бибер и урал — это сорта драпа), листовка не кажется такой уж забавной: ишь как изгаляется, чтоб за своего сойти; по правде сказать, в ней нет и вовсе ничего забавного. Это профессионально выполненная, адекватная, надо полагать, по языку вещь (у Ленина не так уж часто встретишь музыкально звучащую фразу, но ухо у него было довольно чуткое, и когда в графе «профессия» он указывал «литератор», то нисколько не преувеличивал). Да,

многие фразы режут слух — но это «нишевая литература», рассчитанная на специфическую аудиторию. Да, по этому тексту пока не чувствуется специфическое ленинское искусство «социального гипнотизма» (термин социал-демократа Б. Горева) — умение «так воздействовать устной и печатной речью на разум и волю масс, что эта воля подчиняется воле вождя». В забастовке поучаствовали не все работники, около пятисот; она не переросла в вооруженное восстание. И все же листовки, по воспоминаниям многих участников событий, производили и на фабричных, и на заводских обитателей одинаковый эффект — сходный с магическим. Обычно их находили в «ретирадах» — отхожих местах. Туда принимались наведываться группами; начиналось кучкование, «праздничное оживление». В какой-то момент через сторожа или иное незаинтересованное лицо листовка отсылалась в дирекцию; там тоже начиналось движение; часто заранее — потому что сочинители листовок отсылали копии всем, вплоть до полиции. Начальство — мастера, управляющие, иногда хозяин — выходило к людям. На вопросы, что конкретно они требуют, толпа обычно кричала — мол, сами читайте, там все написано; более конкретные ответы давали таким образом, чтобы отвечающий был прикрыт толпой — иначе потом выгонят. Но самое любопытное, что листовки оказывали эффект как раз на хозяев: «На глазах у рабочих фабричная инспекция и жандармский полковник производили исследования, пробовали тухлую некипяченую воду в баках, вешали гири, проверяли весы, мерили куски... Настроение у рабочих было самое радостное, особенно когда после всей этой встряски уничтожались уже очень очевидные злоупотребления». В том, что какие-то листки могут вызвать уступки хозяев, которые никогда не реагируют ни на какие жалобы, ощущалось едва ли не колдовство; рабочие — слабая, по самоощущению, сторона — начинали осознавать, что «хулиганы» их побаиваются.

В результате каждую следующую листовку оказывалось распространить проще; репутация «Союза» росла как на дрожжах; марксистов приглашали на заводы — а сделайте нам такое!

Разумеется, листовки не Ульяновым придуманы; самопальные, 1880-х годов, обычно отличались краткостью и емкостью: «Кто завтра продолжит работать, тот получит...» Один мемуарист вспоминает знаменитое «объявление», подписанное: «руку приложил Павел Иванов»; «причем на листе действительно была приложена рука, т. е. отпечаток руки. Этот отпечаток был таких внушительных размеров, что можно было усомниться в существовании такой руки, если б для воспроизведения ее на бумаге можно было допустить какой-либо другой способ, а не действительное

“рукоприкладство”» («Из рабочего движения за Невской заставой в 70-х и 80-х годах. Из воспоминаний старого рабочего»). Неудивительно, что последствиями таких листовок обычно становились драки с охраной и ломка машин, мало к чему приводившие.

Искусство написания самодельных листовок постепенно эволюционировало. В 1890-х рабочие могли прочесть, например, такое: «Господа рабочие товарищи! Обратите внимание и ваш взгляд на жизнь свою. Если бы вам пришлось встретить иностранца, по чину равного себе, то вы сразу сознаетесь, что вы против их дикари. Они также были угнетаемы своими хозяевами, но благодаря их острому понятию давно улучшили свое положение. Они по-нашему в часы отдыха не валяются в грязи, в рваной одежде около кабаков и трактиров, не относятся с ругательством и нередко с побоями к своим товарищам, как русский мужик, а собираются вместе и толкуют об улучшении, или же захочет развеселиться, то садится на велосипед и едет кататься и вместе с тем развивает свою мускульную силу». Живо — но по-прежнему мало конкретики; не попросишь же начальство перевести тебя в иностранцы.

Понимая, что малейшая фальшь в интонации убьет весь эффект от текста, ВИ и уделял так много времени анкетированию рабочих: это позволяло ему писать не просто «пролетарии всех стран, соединяйтесь», а предметно, с деталями, да, имитировать явно чужую речь, но не сбиваясь на пародию; как индейцы в романах Фенимора Купера подражали птичьим крикам.

Занятно, что «магия» листовок, работавшая в 1893–1895 годах, затем иссякла — но только потому, что рабочие и сами уже знали, чего могут добиться стачками, и устраивали их с пугающей полицией регулярностью; вырастая, в точности как было предсказано в марксистских сочинениях, они хотели уже литературы посерьезнее — периодики, газет. Всё это в конце концов приведет к ситуации 1905–1906 годов — «идеальному шторму».

Пожалуй, фигура, через посредничество которой о молодом Ленине можно узнать больше, чем как-либо еще, — это погибший в 1906 году тридцатитрехлетним рабочий Иван Бабушкин.

С Лениным его познакомил Шелгунов. Но то, что Бабушкин был уникалом, вычислила Крупская, у которой он учился в Корниловской школе; он был очень наивным, запомнила Крупская, — написал на уроке русского языка на доске: «У нас на заводе скоро будет стачка».

Бабушкин был рабочим-металлургом, заводским; это важно: ткачи и металлурги — «плебс» и «аристократия» пролетариата. Ульянова больше интересовали металлурги как наиболее сознательные рабочие — которые, в свою очередь, могли компетентно

просветить и распропагандировать более темных ткачей. В случае с Бабушкиным эта схема сработала идеально — по заданию «Искры» он немало времени провел на фабриках в Иваново-Вознесенске, Шуе, Орехово-Зуеве — самых чудовищных анклавах российского капитализма. В возрасте около двадцати лет он на тринадцать месяцев попал в камеру-одиночку; потом не смог вернуться к прежней профессии — потому что никак не получалось пройти экзамен с напильником: за год мозоли, которые раньше покрывали его руки, сошли — и пытаться обработать «контрольную» деталь в обозначенное время, он несколько раз стирал себе руки в кровь. В начале 1900-х Ленин придумал использовать его не только как агента «Искры» — распространителя газеты, но и как журналиста, создателя репортажных очерков о фабричной жизни. Когда Бабушкин приехал к нему в Лондон, Ленин предложил ему написать для «Искры» автобиографический текст; и даже сейчас, через сто с лишним лет, эта работа Ивана Бабушкина производит ошеломляющее впечатление.

О страшном, «диккенсовском» мире фабричного капитализма мы имеем довольно смутное представление. «Русская фабрика» Туган-Барановского, «Очерки» Тахтарева, «Развитие капитализма» Ленина — это всё же научные работы, но даже и по горьковскому роману «Мать» о нем трудно судить: там описано уже другое десятилетие, когда условия жизни рабочих сильно улучшились. Бабушкин, рожденный этим миром, — ключевая фигура для того, кто хотел бы увидеть ту среду, на трансформацию которой был направлен вектор усилий Ленина; понять, с какой стати Ленин с его талантами, применимыми в любой области, выбрал не просто занятия «академическим марксизмом», как его в каком-то смысле «двойник» Струве, или марксизм как просветительство, род интеллигентского хождения в народ (таких «двойников» — без счета), но активную, рискованную, опасную для жизни и здоровья деятельность.

Возможно, многие рабочие — ученики и товарищи ВИ — чувствовали то же самое, но только Бабушкин успел рассказать об этом. Его стостраничная автобиография — история жизни заведомо обреченного — принадлежностью к сословию, обстоятельствами рождения — человека, осознающего, что все его попытки изменить чудовищную среду вокруг себя оборачиваются страшными потерями; трагическое — и одновременно жизнеутверждающее произведение. При всей девальвации школьным советским курсом, добролюбивский образ луча света в темном царстве уместен для фигуры автора как никакой другой — луча, трагически рано угасшего, но оставившего о себе воспоминания и надежду.

Курьез еще и в том, что этот луч света был практиком, прагматиком, одинаково хорошо управлявшимся и с напильником, и с пером, и с браунингом, не терявшимся ни в Орехово-Зуеве, ни в Лондоне, ни в Чите, способным и шататься по фабричным слободкам под видом коробейника с образцами текстильной продукции — и «Искрой» на дне; и открыть слесарную мастерскую на дому; и навести порядок в лондонской коммуне интеллигентов-социал-демократов, погрязших в бытовом свинстве; и открыть кооперативную лавку на паях по торговле бакалеей; и бежать из тюрьмы, перепилив решетку (он носил в сапоге набор пилки для этого); и сочинить брошюру, которая станет классикой и будет годами циркулировать среди рабочих («Что такое социалист и государственный преступник»); и пробраться на конгресс английских тред-юнионов, чтобы — даже не зная языка — изучать культуру пролетариата, умеющего саморганизовываться. У него все спорилось — и одновременно в нем была и «мечтательность», впечатлительность, *Sehnsucht*. Это позволило ему, меланхолику, транслировать ужасы капитализма в России так, как у Ленина — сангвиника и отчасти холерика, которого мы всё время видим сложившимся пополам от беззвучного хохота над глупостью оппонентов, — никогда не получалось.

Возможно, сегодня мы поневоле воспринимаем деятельность марксистов 1890-х с некоторым раздражением: как они настырно «лезут» к рабочим, «развращая» их своими «штудирен-пропагандирен». Бабушкин показывает, как все было на самом деле; особенно это видно, когда он описывает горькое чувство потери, которое ощущали рабочие, видя, что «их» интеллигентов одного за другим арестовывают. Он не только сожалеет, но и досадует: важная работа остается невыполненной, ведь сами рабочие были не в состоянии написать и отредактировать «листки», которые так ждали и они сами, и их товарищи. «Как несчастье после какого-либо обвала, засыпавшего людей, не позволяет долго обдумывать особых приспособлений для отрытия их, а заставляет скорее схватить лопату и рыть, рыть без устали, без конца, до тех пор, пока не удастся отрыть живых или мертвых тел, так точно и нам некогда было обсуждать наше положение, и нужно было по возможности скорее принимать наследство». Рыть, пока не удастся отрыть живых или мертвых тел, — вот на что была похожа революционная работа, вот почему они — и ВИ тоже — тратили столько времени и сил, вот почему так рисковали и торопились.

К Ленину за 54 года пришвартовывалось много хороших и очень хороших людей, но, возможно, лучшим из них был как раз Бабушкин; ни разу за последнее столетие не попавшая в раз-

ряд «модных» — в отличие от Богданова, Потресова, Струве, Троцкого, Дзержинского — фигура: просто рабочий со смешной фамилией, который в какой-то момент зачитался книжками и, вместо того чтобы продолжать вести нормальную жизнь, занялся просвещением и революцией — и расстрелян был, как собака, без следствия, суда и уведомления близких; тот ученик, за которого многое можно простить и учителю.

Согласно распространенному представлению, один из «грехов» Ленина состоит в том, что он, в рамках своего жестокого социального эксперимента, вывел на историческую авансцену «хама» — «шарикова», «чумазого», «манкурта», «гунна», варвара, класс недочеловеков, которых заведомо нельзя было допускать к власти, поскольку они представляют собой продукт дегенерации общества, антиподов самого понятия «культура». По бабушкинскому тексту — не говоря уж о бабушкинской биографии — понятно, что эти представления суть прикрытый ссылкой на булгаковское остроумие социальный расизм. Рабочие были классом, попавшим в трагическое положение, в беду; класс-жертва объективных историко-экономических обстоятельств. И даже сам внешний вид пролетариев — склонность к алкоголю, агрессивность, вульгарность — есть навязанное им состояние, которое доставляло им самим страдание. Отвечая одному из либеральных публицистов «Русского богатства», который проехался по фабрикам Центральной России и сочинил «скептический» очерк о положении рабочих: много пьяных, обстановка свинская; поделом им, сами виноваты, — Бабушкин объясняет, откуда взялась эта обстановка: их рабочий день длится слишком долго для того, чтобы думать о чем-то еще; такой режим, да еще в сочетании с вечным, с младенчества до смерти, недоеданием, действовал на рабочих как седативное лекарство; и читать им было тяжело — над книжкой засыпали, и пьянели они со второй рюмки — не потому, что были морлоками-деградантами; просто с ними обращались, как со скотом. Рабочий цикл мог длиться, например, 60 часов — с перерывами только для приема пищи, и сам Бабушкин, участвовавший в таких марафонах, не мог читать книги не из отвращения к высокой культуре, а потому, что по дороге домой дремал на ходу «и просыпался от удара о фонарный столб»; и затем ему приходилось буквально обкрадывать самого себя — недоедать и недосыпать, чтобы чего-то прочесть в книгах и что-то узнать в Корниловской школе. В школе, где в коридорах, из-за общественных туалетов, стоял такой запах, что с ног валило: свинство? Свинство, да, но «свинство» также не является имманентным свойством пролетариата, и даже когда вы видите, что по улице рабочей слободки

идет шатающийся, как пьяный, человек — он, вполне может быть не пьян, а голоден; особенно если это голодный год. Для России 1880–1890-х, как для Англии 1840-х, характерна была, в точности по Марксу, унтерменшизация человека, превращение его в придаток машины. Труд был не просто плохо оплачиваем, но мучителен, неизбежно приводил к разрушению организма и физическим увечьям; самими рабочими эта жизнь воспринималась как рабство (и неудивительно, что любимой книгой грамотных рабочих того времени становился «Спартак» Джованьоли — больно хорошо рифмовались обстоятельства и атмосфера). Именно здесь, на ткацких фабриках, случались совершенно «голливудские» происшествия, и женщины, чистившие ткацкий станок, подхваченные за волосы рваным ходовым ремнем, подброшенные под потолок и заживо оскальпированные, не были выдумкой. Как и полагается в антиутопиях, эти заведения кишели двенадцати-тринадцатилетними полурабами-детьми, заживо гнившими среди пыли, тьмы и ядовитых испарений от красителей для тканей. Условия жизни вели к физиологической и моральной деградации. Ужасы, которые Бабушкин — столичный все-таки рабочий, белая кость пролетариата — увидел на провинциальных ткацких фабриках, кажутся нынешнему читателю даже не просто неправдоподобными — «лавкрафтовскими», слишком страшными, чтобы воспроизводить их.

Сам Бабушкин был человеком, которого Ленин, не поспоришь, «улучшил»; вот уж действительно Эдмон Дантес, сформированный аббатом Фариа-Ульяновым. И да, слова, сказанные Лениным о Бабушкине (к сожалению, в некрологе): «благодаря таким рабочим пролетариат завоюет в России себе будущее» — кажутся не столько пророчеством, сколько обещанием.

Бабушкин — так скажем — есть воплощенная «совесть Ленина»; Ленина, которого всегда обвиняли, что у него «нет ничего святого»; и оценивая все дальнейшие действия ВИ — в том числе с позиции Горького, который, небезосновательно, называл Ленина «хладнокровным фокусником, не жалеющим ни чести, ни жизни пролетариата», — следует помнить, что какие бы фокусы Ленин ни выкидывал, у него была «совесть»; и пусть она не выставлена в Мавзолее, но достаточно набрать в поисковике «Воспоминания Ивана Васильевича Бабушкина» — и вы ее увидите.

Не то что бабушкинские тексты оправдывают «фокусы» Ленина — нет; но они объясняют, почему у Ленина было право на эксперимент и в каком состоянии изначально находились те, кто потом стали «жертвами» ленинского эксперимента (а сам Бабушкин демонстрирует, каким может быть результат эксперимента — пусть даже его не удалось запустить в «массовое производство»). И если

уж на то пошло, Ленин никогда не скрывал от рабочих, что «экспериментирует». Им говорили — в открытую, — что они сформированы капитализмом, а теперь им предстоит построить новый мир, и поэтому — у А. Платонова есть хорошая формулировка — «мы должны бросить каждого в рассол социализма, чтоб с него слезла шкура капитализма и сердце обратило внимание на жар жизни вокруг костра классовой борьбы и произошел бы энтузиазм!..».

Это гротескное, не без ерничества, но, в сущности, правильное изложение ленинского плана, касающегося приучения рабочих к культуре труда и классовой борьбы; сам И. В. Бабушкин наверняка понял бы, о чем идет речь.

* * *

Невская застава раскачивалась года аж до 1894-го — а затем медленно, но верно начала выходить из берегов: то ли пропагандисты в самом деле раскачали рабочих, то ли локомотив капитализма достиг крейсерской скорости, однако тапер играл уже совсем другие мелодии. Если до 1893-го марксисты гонялись за любыми, какими ни есть рабочими, а в условном 1894-м — за интеллигентными, которым можно втолковать хотя бы первую главу «Капитала», то уже к 1895 году сами рабочие стали искать агитаторов, способных спровоцировать их на массовое выступление и перевести экономические требования в политические.

Первый из летевших в коммунизм рабочих кружков «Николая Петровича» перехватили в ноябре 1894-го; лектор уцелел — но зубной врач Михайлов продолжал сверлить дыры; горячий воздух из оболочки воздушного шара стравливался, и уже через год все, кто находился в той корзине, экипаж которой собирался выпустить первый номер газеты «Рабочее дело», шваркнулись об землю.

Десять тысяч часов в одиночной камере изменяют психику кого угодно, и, выбравшись на три дня на волю перед ссылкой, ВИ, столько лет тянувший резину и дождавшийся того, что «невеста» сама угодила за решетку, пишет ей — «химией», разумеется — письмо, в котором — 14 февраля, как трогательно — признается в любви.

<...>